

НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО:

Только большие деревья притягивают молнию

15 апреля в Малом зале ЦДЛ состоялся вечер, посвященный 80-летию со дня рождения писателя **Николая ПАНЧЕНКО**. Фронтвик, редактор первого и составитель второго выпуска "Тарусских страниц", широко известен он прежде всего как поэт.

— Как вам кажется, Николай Васильевич, наше время продуктивно для поэзии?

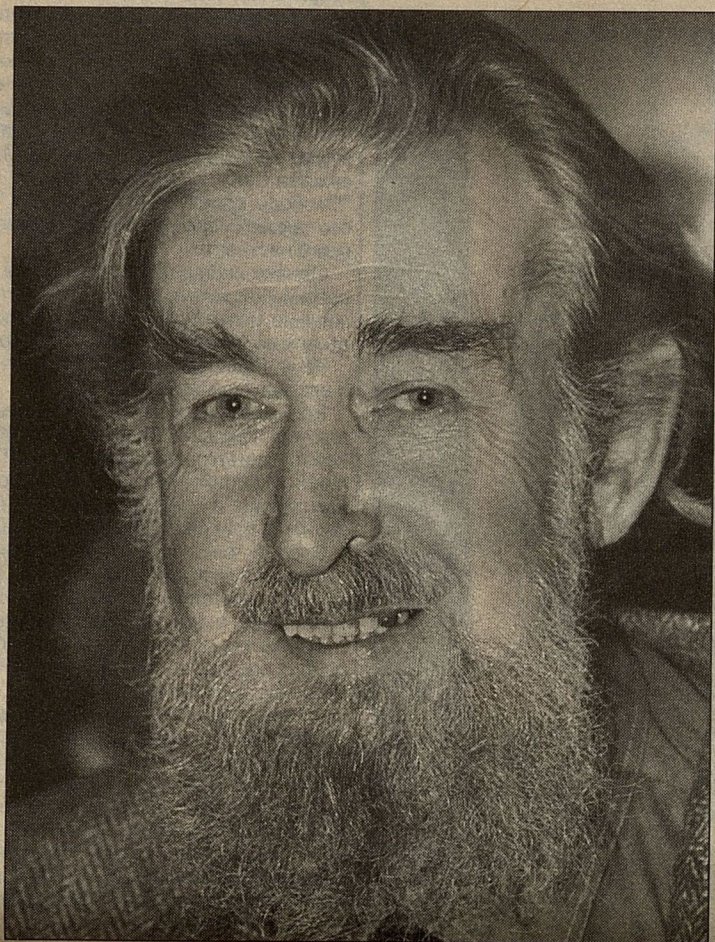
— Видите ли, тут нет какой-то прямой закономерности, у меня глубокое убеждение, что поэзия во времени распределяется неравномерно — и по годам в том или ином десятилетии, и по десятилетиям на протяжении столетия. Такой взлет поэзии первые 30 лет, еще до ранних публикаций Тютчева и Фета, а в середине XIX века — уже много средних поэтов. Возьмите его последнее десятилетие, где кончается Фет, где уже кончился, сильно не дойдя до конца века, Тютчев и где только начинаются Анненский и Блок. Из того периода имен серьезных поэтов можно вспомнить немного.

А вот так, навскидку, начало прошлого уже, XX века — это прежде всего Иннокентий Анненский, Мандельштам, Блок, Ахматова, Цветаева, Нарбут, Пастернак, Гумилев, Есенин, Маяковский, Хлебников. Очень богатое начало века. В 30-е годы пошли уже обязательно с какой-нибудь порчинкой поэты, хотя и талантливые, и ученики предшествующих. И непосредственно наши учителя. Илья Сельвинский, Иосиф Уткин, Николай Тихонов. Вадим Шеднер — замечательный петербургский поэт, о котором хорошо отзывалась Анна Андреевна. Светлов, который в поэзии был больше известен, чем реализовался. Эдуард Багрицкий. От него, может быть, осталось 3 — 4 стихотворения, но они есть. Сюда же можно отнести Тарковского, но поставить его уже, может быть, невозможно в другом ряду. Потому что он слишком много сил и времени отдал переводам. Вообще, перевод — очень соблазнительная вещь. Тебе дают, скажем, тысячу строк оригинала, ты должен ее перевести, по возможности ближе к тексту, и у тебя есть гарантированный заработок. Ты делаешь, скажем, сначала по 20, потом по 30, потом по 70 строк в день и потихоньку становишься богатым человеком. Материально. И беднее как поэт. Вот так сильно себя урезал Тарковский. И подобно ему очень сильно себя урезали Липкин и Гребнев. Хотя они, конечно же, хорошие поэты.

— Но в целом для поэзии это же, бесспорно, плюс: читатель должен знать и литературу других стран...

— Это не плюс. Нормальный человек стихи читает в подлиннике. Потому что по-настоящему точно перевести ни одно стихотворение нельзя. Неслучайно Жуковский говорил: поэт-переводчик, в отличие от прозаика, не раб, но соревнователь. Перевод может оказаться даже лучше оригинала, но и в этом случае получается совсем другое стихотворение. Хрестоматийный пример тому, известный даже школьникам, — "Сосна" Гейне и Лермонтова ("На севере диком..."). И в стране по-настоящему культурной, к которой мы еще идем и никак не подойдем, стихи должны читаться в подлинниках. Насколько я помню по моим современникам, по моим родителям, по их родителям, на двух-трех языках читали и писали почти все образованные люди. Надежда Яковлевна Мандельштам знала 18 языков. А брат Виктора Борисовича Шкловского, Владимир, — 30.

После 30-х годов в литературу пошло мое поколение. И многие из него в поэзию действительно вошли: Будзенко, Кулчицкий, Коган, Слуцкий,



Н. Панченко

Булат Окуджава, Николай Глазков, Наталья Астафьева, Нина Бялосинская, Михаил Львов, Юнна Мориц, Инна Лиснянская. С некоторой оговоркой (опять-таки казалось чрезмерное занятие переводами) — Давид Самойлов и Александр Межиров. Им это занятие тоже очень сильно мешало. В отличие от Инны, за которую, когда она не хотела переводить, судя по всему, работу кто-то делал. И в принципе это было явление достаточно распространенное. Скажем, за Анну Андреевну Ахматову, когда ее что-то не устраивало в заказанном для перевода тексте, нередко переводили другие, и я даже знаю кто.

— Так что многие ее считающиеся классическими переводы — вовсе не ее?

— Именно так. И за меня тоже переводили. А за Мандельштама часто переводила Надежда Яковлевна. В последнем десятилетии XX века назову ряд действительно подлинных поэтов — покойные Николай Рубцов, Геннадий Шпаликов, Марк Рихтерман, Сергей Носиков, Алексей Решетов, ныне живущий, дай ему Бог долгих лет, Геннадий Русаков. Ольга Постникова, Петр Красноперов, Валентина Коханова. И сюда же я бы причислил человека, который постарше и больше относится к моему поколению, но как поэт стал известен только в 90-е годы, — Вениамин Блаженный. Вот примерно так, по моему, распределяется во времени поэзия в XX веке.

— Вы ни разу не упомянули Твардовского.

— Я не упомянул его неслучайно. Точно так же, как я бы не упомянул среди ведущих поэтов XIX века Ершова. Понимаете, нельзя так плотно идти от фольклора. Фольклор — дело хорошее, если он составляет какую-то основу поэзии. Но мои стихи — это мои стихи. Я имею в виду прежде всего поэзию лирическую, меньше — эпическую. Потому что эпическая поэзия — совсем другой жанр, может быть, она ближе к прозе. К тому же это мое личное мнение, а кто-то, наоборот, может сказать, что для него Твардовский — первый поэт XX века, что его "Василий Теркин" — одно из самых популярных произведений времен Великой Отечественной войны, наша лучшая поэма. Но для меня Твардовский, Пастернак и Ахматова

— величины несравнимые. И Ахматова, и Пастернак выражали себя полнее, непосредственнее, подлиннее. Хотя Твардовский очень много сделал и для литературы, и вообще для нашей жизни. И забывать это нельзя. А из его собственных вещей лучшая, наверное, — "Дом у дороги".

— Это размышления уже зрелого Панченко, с поэтическим стажем, измеряемым десятилетиями. Тем не менее многие ваши военные стихи, помеченные 42-м, 44-м годами, уже вошли в антологии и хрестоматии. Как для вас начинались стихи?

— Многое мне сейчас восстановить очень трудно. Я до войны окончил аэроклуб, потом, когда отступали, на короткое время попал в пехоту, затем меня взяли в авиационное училище. И там я — это был 42-й год — сблизился с одним человеком. Мы с ним часто спорили, причем споры-то эти, в общем, вечные, те же, что и сейчас: о войне и мире, о долге и назначении. Он, в отличие от меня, считал, что не может позволить себе выстрелить в другого, и говорил, что у него есть только одна пуля — для себя. Кстати, он застрелился на посту.

Ну и как-то так получилось, что тогда я задал себе многие вопросы по-новому. Отвечая на них, я решил, что должен жить так, как должен жить, и писать так, как живу. "Мы были тогда не с народом, мы были народом тогда..." А раз ты стал народом, значит, изволь...

Конечно, писать те стихи, что я писал на фронте и потом, было достаточно опасно, но во мне жила неискоренимая потребность в этом. Дома, по возвращении, я очень часто стихи прятал за обоями. Напишу стихотворение — и спрячу или сожгу его.

В 1946-м году меня в очередной раз прогнали из областной газеты за фельетон, а поскольку я был инвалидом войны, должны были как-то трудоустроить. И я попал в краеведческий музей, где работал тогда Владимир Семенович Зотов, уже отсидевший срок на Соловках и который был в свое время, несмотря на большую разницу в возрасте, другом Цюлковского. Зотов знал, что я пишу стихи, и как-то спросил меня, слышал ли я такие-то строки такого-то поэта. Выяснилось, что ничего из того, что он мне прочитал, я не знаю. Тогда он спросил, а вот известны ли мне та-

кие травы? Нет, не известны. "Завтра мы с вами идем в лес". И как только мы зашли в лес, он мне начал декламировать Гумилева. Попутно рассказал его биографию. Позднее, когда мне ненадолго достали перепечатанный на машинке "Огненный столп", все стихи из него я уже знал.

Если бы я не познакомился с поэзией Гумилева, я бы не смог позднее оценить Цветаеву и Ахматову. Именно Гумилев, который был проще и прямолинейнее, помог не только мне, но очень многим подготовиться к восприятию других, более сложных поэтов Серебряного века. Ну а я в свою очередь рассказывал Зотову про то, что на самом деле было на войне. А в следующие наши прогулки по лесу читал ему свои военные стихи, в частности "Балладу о расстрелянном сердце", которая была тогда раза в три больше. Он мне сразу же подсказал, какие примерно места, с его точки зрения, надо сократить, — я ему несколько раз начинал читать, а он указывал. На слух же все делалось потому, что я по вполне понятным причинам это стихотворение не записывал, а держал в голове.

— А вы многим так читали свои стихи?

— Очень немногим. Но Зотов продолжал помогать мне и дальше. Когда я уже начал печататься, мои стихи однажды страшно разругали в "Правде". Вскоре после этого Зотов встретил меня на улице и спросил: "Коля, почему нос вниз опустил?" — "Он так растет" — "Нет. Только большие деревья притягивают молнию. У нас все в порядке", — сказал он.

Это его оптимистическое: "У нас все в порядке", — важно при любом режиме, в любые времена. Тогда были свои трудности (уж поверьте мне, не меньше нынешних), сейчас — свои.

Когда меня спрашивают, что делать, отвечаю: делать свое дело. Пришло время писать, будят стихи по ночам — вставай и пиши, не оглядываясь на то, что тебе хочется спать, не оглядываясь на то, пойдут стихи куда-нибудь или не пойдут. Поэт всегда должен делать одно дело — свое — писать.

— И не заботиться о том, чтобы его стихи нашли читателя?

— Специально заботиться об этом он не должен, хотя, конечно, когда какая-то возможность пробиться к читателю появляется, упускать ее не стоит.

— Николай Васильевич, вы — автор 14 поэтических книг. Сколько из них было опубликовано так, как задумано, — без сокращений и цензурной правки?

— Таких у меня только две — "Горячий след" (1994) и "Живу во глубине России" (1999). А остальные... Даже вышедшие в перестройку сборники "Избранное" (1988) и "Осенний шум" (1990) все еще были с редакторскими поправками. Неподцензурных же книг, выпущенных государством, а не за свой счет, у меня вообще всего одна — "Горячий след", хотя и в ней что-то поневоле упущено, объем книжки был предопределен серийным оформлением. Но даже при том, что получилась в несколько раз меньше, допустим, моего "Избранного", она стала для меня принципиально новой. Один знакомый, прочитав ее, сказал, что у него было раньше совсем другое представление обо мне как о поэте, хотя он читал все мои основные публикации.

— А последнюю книгу вы написали уже за свой счет?

— Да. В 1999-м чувствовал себя плохо после инфаркта, который, правда, как будто прошел, и, как говорят врачи, даже рубцов от него не осталось. И я подумал, что, пока есть хоть какие-то силы, надо и стихи 90-х годов издать. И взялся за дело — сидя в своем кресле, с закрытыми глазами, потому что перед этим у меня еще глазная операция была. Рядом сидела мой близкий друг, поэт-фронтвик Нина Бялосинская, и по составленной ею картотеке читала

мне мои последние стихи, не вошедшие в "Горячий след". И я отмечал, что требуется отложить: "Вот это вот и вот это..." Затем отобранные произведения она перепечатала. В общем, вся техническая работа, да и не только техническая — я с ней часто советовался, — сделана ею.

Сначала я включил в сборник много новых стихов, но потом, взяв рукопись в руки, решил, что книжка получается великовата и что какие-то вещи слабее предшествующих. Их я изъял, а второй частью сборника сделал, условно говоря, "Избранное по письмам читателей" — по их откликам на выход "Горячего следа". Как ни странно, но я получил много писем, в которых читатели говорили мне, какие мои стихи они хотели бы иметь, но не нашли в этой книге. Что-то нравившееся им они слышали на моих вечерах, что-то читали в газетах и журналах, но в моих книгах этого не было. И вот с учетом их пожеланий увидела свет книга "Живу во глубине России".

— Николай Васильевич, а сейчас какие-нибудь предложения от издателей вам поступают?

— Совсем недавно меня попросило издательство "Терра" предоставить им подборку моих военных стихов.

И в конце концов собралась большая книга, которую я назвал "Эхо войны". Это 350 — 400 страниц стихов, которые не могли войти ни в одну мою книгу и после перестройки. Потому что, так мягко скажем, война была страшноватая.

Новый сборник разделен на две части: "Стихи с войны" и "Эхо войны". "Стихи с войны" — те, которые я привез с фронта или там начал, но не закончил, вот как, скажем, "Баллада о расстрелянном сердце". А "Эхо войны" — стихи последующих лет, своеобразная летопись жизни человека моего поколения, по которым видно, как реализовалось военное прошлое в моей дальнейшей жизни и поэзии, как война возвращалась ко мне, приходила днем и ночью. И вот получилась книга, которая, возможно, выйдет. Я говорю: возможно, потому что мне не раз делали предложения о публикации моих произведений, почти всегда без дальнейших последствий.

Но сейчас в "Терре" вроде бы все-таки собираются подготовить серию книг к 60-летию окончания ВОВ — оставшихся в живых поэтов-фронтовиков. Много ли таких? Боюсь, что нет. Вот эта идея издательства и подтолкнула меня такую книгу все-таки сделать.

— И последний вопрос. Какие у вас дальнейшие творческие планы по сдаче "Эха войны"?

— Если эта книга выйдет полностью, то тогда у меня останутся неопубликованными стихи, которые я бы определил так: "для домашнего чтения". Они предназначены человеку, который приходит усталый с работы, но хочет отдохнуть не у телевизора, а с книжкой в руках. Вот для него, если у меня окажется в запасе время, я и постараюсь сделать книжку.

И войдут в нее стихи уже совсем в другом роде — подобные этому:
Весной подтоплены мосты,
К теплу раскаркались вороны,
Бегут по насыпи вагоны
Зеленые,
Свистят кусты
Еще без листьев —
Свист их тонок,
И, розовый разинув рот,
Зеленоязыкий хнычет кот
Капризным басом, как ребенок.

Таких стихов у меня, наверное, папок двадцать. И что я из них выберу, Господь знает. А что не выберу, то пусть уйдет в архивы. Пусть ими занимаются уже без меня те, кому это покажется интересным.

Беседу вел
Павел НУИКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Помею Николая
28.04.09